

ЦАРЬЯ ТОЩКАЯ

# МОРЕ МИКОША

18+

Дарья Тоцкая  
**Море Микоша**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

**Тоцкая Д. С.**

Море Микоша / Д. С. Тоцкая — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Микош Ракоци - гуцул, появился на свет в селе Глыбоке в Серебряных горах во времена, когда волшебство еще было столь обыденным, что одуванчик мог распылить свое семя на облако и проросло бы. Море Микоша - это колебания его состояний: от приливов надежды до неверия в возможность нахождения истины как смысла жизни.

# Содержание

Пролог	6
Часть I. Колыба	7
Глава 1. Прощание	7
Глава 2. Полорогая днина	13
Глава 3. Одиночество	18
Глава 4. Сорокадневный дождь	23
Глава 5. Расплата	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

*Посвящается всем, кто верил*

*Есть люди, гнушающиеся жизнью и смертью и благодаря этому возвысившиеся над ними. Разве это не великое горе? Разве такие люди не похожи на призраков? Человека, гнушающегося жизнью и смертью и возвышающегося над ними, именуют нечистойю.*

*Гуань Инь-цзы*

## Пролог

Микош открыл глаза.

В тот же миг птица снялась в воздух с тем звуком, с каким болтают воду в большой бутылке, и он так и не смог понять, что его пробудило: всплески внешнего мира или порыв, шедший изнутри. Была ли это мысль или только чувство, такое, с каким изливают душу в песне, чтобы и после смерти осталась; что расскажет о боли и радостях, – и все одним только голосом, звенящим по камням ручьем.

Зачем-то же выдумали люди красить нити и вышивать ими маково-жадные поцелуи, и желтые лампадки светлых мальв, и черные глаза лесных зверей. А после стали повторять за ними формой: иглой по полотну, стежок к стежку; чтобы, когда не хватает слов и настает тяжелое время прощания, когда насилу приходится отрывать от сердца то, что, казалось, вросло в него намертво, сказать все – рушником. И чтобы сизые в сумерках яблони согласно кивали в ответ...

Нет ведь больше у людей той силы, чтобы сказать все одним только словом, чтобы всегда и всеми быть понятыми, до дна; а если и была она, то в те далекие времена, что и не вспомнит никто. Не было ведь изначально никакого Змеева яблока – был уверен Микош – гуцул<sup>1</sup> Адам пал по своему прегрешению, а вместе с ним согласно сошла Ева. Случилось все скоро, едва взошло солнце, и опомниться не успели, да им и собирать в дорогу нечего было: ни *гачі*<sup>2</sup>, ни *гуглі*<sup>3</sup>; силу забыли в Раю под цветущей сливой, а возвращаться негде было. И так потеряли силу над словом, и вместе с ней Бога.

А Бог – это море. Вот оно раскинулось переменчивое, вчера еще теплое, а сегодня – студеное. Будто руки женщины, сошедшей в зимний погреб, занавешенный колышущимся волнами тканым пологом, а за ним покоится почти мертвое, застывшее в каком-то безнадежном ожидании квашное и посолы, и все это ждет извечно одного дня в году – Великóдня, и часа, когда все воскреснет, все грехи будут прощены, и каждый любим будет всеми и ни за что.

Микош тихо грезил о доме, о летних травах по пояс такого цвета, какого им полагалось быть, о благодатном золоте осенних лип и чистой помыслами белизне снегов. После вспоминал себя прежнего: тогда роста был высокого, с плечами – будто покатыми тропками по горам. Поступь была не размашистая, грудь и живот хоть и были мягкими, но не рыхлыми, а полными соками жизни. Глаза блестели зеленым логовом багульника; он вспоминал свои кисти, прежде сильные и вместе с тем такие изящные, что куда до них магнолиеву цветку. Длинные предплечья кто-то однажды назвал стожильными: они заставляли его быть чрезмерно осторожным и внимательным ко всему, к чему он прикасался, чтобы ненароком не повредить.

А сейчас его пальцы не способны были удержать и горстку песка.

---

<sup>1</sup> Гуцулы проживают в северной части Карпат, которую называют *Срібна земля*, «земля серебряная», говорят они на своем языке - *гуцульска говірка*, и имеют свои традиции.

<sup>2</sup> Если *гачі* – теплые штаны, то *гачьки* – уже то, что под ними.

<sup>3</sup> Шуба из нестриженной овцы.

## Часть I. Колыба

### Глава 1. Прощание

Должно быть, все случилось на Святого Ивана, но не Довгого, у которого усы еще скорлупой от великодных писанок обвешаны, а другого Ивана, Богослова, которому гуцулы отдали осенний месяц *Падóлист*<sup>4</sup>. Было это в те времена, когда народный герой и освободитель Дóвбуш уже больше века покоился в земле, унесенный после смерти черными аистами к далекой горе Терка́той Бабе<sup>5</sup>, и под нею же похороненный; до своего часа. Микош тогда только-только родился и не мог знать ничего, разве что внимать рассказам, которыми его потчевала мать.

Чудеса в то время в Серебряной земле случались все реже. Так гуцулам приходилось подстергать их и жаждать нарочно: разбивать стоянки у ручьев, ожидая в них чудесных явлений, – как бы не пропустить чуда-то; а то доводилось месяцами, а то годами даже молиться всем селом на одинокий придорожный камень, чтобы тот замироточил и явил миру спасительный лик.

В те времена слово уже утратило былую силу, земля покорно дымилась со сжигаемой листвой, воздух полнился сорочьим стрекотом и залежалыми туманами, не торопившимися уступать место последышам-рассветам; сбивавшееся в стаи воронье каркало мерзко и со скрежетом, и никакой другой птице было не перекричать в ту пору. Все, кто мог, ушли-улетели за лучшей долей в другие края.

А может, началось все позже, в год, когда *барабу́лі*<sup>6</sup> не уродились, и так сильно не уродились, что от самой Белявы до Чорно́горы ни на одном столе не могли подать *ріпля́нку*<sup>7</sup> со шкварками. Да что *ріпля́нку*, простую *гусля́нку*<sup>8</sup> из сквашенного молока дети перестали просить, ибо начали забывать, что означает это слово. Со дворов распродавали сено и коров, и все чаще вместо зеленых *дзьóбачек*<sup>9</sup> змеился по тарелкам скользкий и дикий пырей.

Тянуть дальше было нельзя. И по весне собрались овчары из трех сел: Ліве Глыбо́ке, Правéсенке Глыбо́ке, – постоит, это все одно село, зажатое с двух сторон волобокими горами, разделенное надвое одной большой дорогой; а еще пришел люд из Дзяндзю́блей и Великих Гарна́блей – последнее хоть и маленькое село, зато со своим новым храмом. В Глыбо́ке храм сгорел еще до рождения Микоша, а нового так и не успели построить.

Овчары собрались в час волка – сумерки, когда зверь лесной выходит на охоту. На ночь огонь в печи тушить не стали, и подкуривали трубки, передавая вышитый кисет с ярмарочным табаком. Заседа в одной курной хате, занимались лушением сплетен (пока бабы не видели) и мысленным пересчетом уцелевших за зиму овец, пасшихся под скатом крыши дымными колечками. И все не могли договориться, и так три дня.

И днем, и ночью хата ходила ходуном от доносившейся из нее брани вперемешку с окриками. Всем окрестным бабам делалось дурно, и все они поминутно бегали смотреть, не случилось ли чего. Особенно волновалась какая-то баба из Гарна́блей: у ее мужика и без того один глаз остался, а тут еще скоро пахать. Им вторили громким воем цепные собаки, дети ревели

---

<sup>4</sup> 1 Ноябрь.

<sup>5</sup> Вероятно, баба была рябой, впрочем, *теркати* означает и тыкать пальцем во что-то.

<sup>6</sup> Речь о картофеле.

<sup>7</sup> А уж в былые благодатные времена *ріпля́нку* из толченого картофеля, сваренного с кукурузной крупой, макали и в брынзу, и в шкварки, и в сметану.

<sup>8</sup> Гуцульская простокваша густа и пахнет рассветами в горах.

<sup>9</sup> Зеленые стручки фасоли готовят часто и вкусно.

даже чаще, чем обычно, и только лишь к рассвету четвертого дня провидение, наконец, сжалилось над ними, и мужчины вынесли решение. А может, просто сливовица кончилась.

Решено было запалить в Ливом Глыбоке великий огонь из срубленных деревьев, так, чтобы искры танцевали под самым небом, и вывести оставшихся овец в горы на пастбища. День этот назвали Прощанием, ведь провожая скот, селяне выпускали из дому последнее съестное, и осенью оно могло к ним не вернуться.

Устроили Прощание. Огонь и правда зажгли на славу, такой, что никому не довелось кутаться в безрукавки и *гуглі*. Сливовицу только всю до этого выпили, и оттого бабы улыбались несмело и чокались за одним большим столом чарками с простой водой. Чтобы все прошло как по маслу, ладная хозяйка Хвидорчучка добавила в нее святой воды, и люди верили ей, и святой воде, и тому, что по осени скотина обязательно вернется и приведет с собой приплод. В глазах светилась костровыми отблесками робкая надежда, и оттого пили воду, а делали вид, что сливовицу.

Когда солнце поднялось, затрубили призывно большие трембиты<sup>10</sup>, потянув за собой вереницей отару, прочь из села. И только когда после праздника разбирали кувшины, чарки, ложки, тарелки из глины и дерева назад по хатам хозяйки, то нашли неладное. Нашли одну тарелку с не тронутой краюхой: как, скажите, в такое голодное и лихое время можно было не отведать хлеба, по такому большому случаю испеченного из всего, что у хозяек нашлось и осталось: из кукурузы и ржи, из картофельной муки и корней камыша, из пырея, крапивы и не доеденных голубями конопляных зерен?

Кто-то побрезговал хлебом, но не упустил случая поживиться мясом: в тарелке на дне скалилась россыпь мелких осколков кости. Будто и не ел, а молот кто волчьими челюстями вместе с потрохами и ребрами... То, что не вкушало, как все, человеческую пищу, но сидело в тот день промеж них, пришло в пальто с волчьим отворотом и рубахе без вышивок, и ни с кем не поздоровалось. Челюсти имело волчьи, а рога козлиные, и звалось оно никак – Ниц, и глаз у него не было, и глядело на все пустыми глазницами и той самой тьмой, которую все страшатся.

\* \* \*

Рогатые папоротники просто так не пустят человека на плоскогорье, – это точно. Такие места без леса гуцулы зовут *полонінами*, и на них до первых заморозков выпасают овец. Зовут их еще *с'ете плече*, – божье плечо, значит. Но ходить на них просто так, от скуки, а еще без огня, без оберегов-*дармовісов* и топорика-*бартки* никак нельзя. Не спасут чистые помыслы, и даже папоротники закружат так и задурят голову, что сам себя путать и пугать начнешь.

Все случилось, когда Микошу вот-вот должно было исполниться шестнадцать, в тот день ему край как нужно было подняться в горы, и он вышел засветло из Глыбоке. Один, шел без бартки, кресала (не курил, пробовал несколько раз, но так и не смог привыкнуть настолько, чтобы ежедневно отдавать этому занятию уйму времени). Отправлялся на полонину не за терном и, конечно, не за белым грибом. Не видел развлечения и в охоте, тем более, что леса сплошь были панские: бить зверя и дичь в них простому люду запрещено. Да он и ружья не держал, и совсем не чувствовал в лесу страха, даже когда понял, что заблудился, ощущал лишь нараставшее напряжение – из-за долгого пути и маслянистой грязи, заставлявшей кожаные его постолы неприятно скользить.

С самого начала у него возникло подозрение, будто кто-то наблюдал за ним, но, оглянувшись, Микош не заметил никого. Карпатские леса по осени безлюдны и оставлены птицей; ощущение повторилось, когда буки кончились и уступили место оголтелым березам. Будто кто-то зашел с подветренной стороны, чтобы смотреть за ним, а сам остался незамеченным.

---

<sup>10</sup> Если и есть главный символ Карпат, то это большая труба – трембита, выдолбленная из дерева, в которое угодила молния.

А после ветер смазал это впечатление, прошелся пальцами по угольному утреннему наброску леса на белом полотнище тумана.

Над полониной стали собираться тучи: пухлогубые, обвисло-складчатые. Микош ощутил жар в голове, и его обильно вырвало. Нельзя было винить в этом плохую пищу, он со вчерашнего вечера не проглотил и макового зернышка. Тело его избавлялось от того, что им самим (для себя же) было сотворено: на подмерзшую траву падали беловатые улиточные комья слизи и желтая желчь, смешанная со слюной. Горечь разлилась под небом и никак не уходила, сколько он ни сглатывал, и все яснее проступило ощущение бесполезности сегодняшнего пути. При этом разумом он знал, за чем именно отправился на полонину из Глыбоке. Вышел до того, как солнце перевалило за гору Правесеньке Горбатко, легко обогнул ее соседку – Левую Горбатко, после преодолел Сойферовый запуск и дошагал до Коц-планины, на которую теперь взбирался. С высоты плоскогорья на него взирал великанский Панський бук, которому не суждено было быть срубленным.

Приближалась, как говорят гуцулы, *пли́ота* – такая немилосердная погода, что только и проверять, сидит курица на яйце или в ее сыром гнезде уж выдры вывелись, и с утра пораньше вставать-смотреть, не уплыла ли *скрiня*<sup>11</sup> вниз по Белой Тисе... Овчары спустили овец в села, и никому не приходило в голову остаться по своей воле в *колі́бі*<sup>12</sup> на полонине в холода. Но в Глыбоке упорно ходили слухи, что все же один овчар остался, что не имел ни жены, ни детей, и звали его *ка́льманом*, «держашим пламя», но никто точно не знал, как ему удавалось жить в одиночестве и никогда не заставить в очаге потухших углей. Говорили также, что кальман с таким жаром играл на трембите, что даже божья птица, жаворонок, обрывала свою песнь в небе и спешно спускалась к земле, и не поднималась больше, пока не слышала его в другой раз.

Микош чувствовал, что все эти истории об остававшемся на полонине пастухе селяне выдумали для самих себя, чтобы чувствовать, что кому-то тяжелее, чем им, и чтобы проще было переживать суровые зимы и особенно метели, выметавшие последние припасы из дому. Передавали рассказы друг другу вечерами при лучине, и только оттого лишь не теряли в холодной серости перед рассветами все человеческое... Выходец из Глыбоке все это знал, но упорно продолжал искать овчара, в чьем существовании сомневался, и его колыбу.

Внезапно придорожный камень вздрогнул и пошевелился.

То, что Микош принял по ошибке за рассыпавшиеся прелые мхи, неспешно подвелось на ноги. Гуцул скорее опустил глаза, чтобы не видеть этого; воздух вдруг наполнился вкусом ключей, и разлилось неприятно и тепло квашней под лопатками, и сердце заколотилось так часто, что он решил во что бы то ни стало не смотреть больше вперед. Он был сам не свой в то утро, и отчего-то верил, что если бы взглянул на оживший камень снова, то навсегда сошел с ума.

– Б-П! Б-М! МЭ-Э!

У Микоша на голове волосы встали дыбом, когда он услышал, как восставшее существо огласило свою волю полонине. Оно делало это так нелепо, словно никогда не слышало гуцульскую речь; тут и там в ответ на чудовищный зов начали вытягиваться козьи головы из разросшихся непомерно пырея и лютиков, они не глядели на Микоша вовсе, а только лишь на пасшее их чудище, и оно повело их прочь от надвигавшейся на Коц-планину непогоды.

Первые капли дождя налетели вместе с шумом и ветром, прорвавшись сквозь завесу измороси. До колыбы было еще далеко, когда гром загрохотал и небеса пали на землю. Спасаясь от непогоды, Микош следовал за козами, хотя что-то внутри него все время требовало повернуть назад. Наконец, куст лещины расступился, показав заветную колыбу, твари разделились и обтекали ее с двух сторон.

---

<sup>11</sup> В *скрiні* хранят всякий скарб.

<sup>12</sup> А это хатка овчаров на лето высоко в горах.

Микош рывком отворил просевшие двери, и застонала скользко трава. В постолы успело набраться по озерцу, рукава домотканой рубахи провисли мокрыми парусами, он без раздумий сбросил с себя все и скорее укутался в косматый *ліжник*<sup>13</sup>. Сваленная шерсть заколола тело, онемевшее от ледяного дождя, и только тогда он огляделся.

Странное дело, но в колыбе и правда сам собой теплился очаг, и дым от него уходил в дыру от снятой дранки, в которую, уверен был Микош, поутру заглядывали морозы и воробы. На огне готовилось что-то, раз или два всплывало сероватым бочком. На дворе ругались с погодой промокшие козы, в колыбе же все обещало сухость и сытость, но отчего-то беспокойство само поднималось из живота настойчивой тошнотой.

Муха зажужжала и вылетела в дождь из висевших у двери бузиновых веток и елового лапника, – «*от міши да комаши*<sup>14</sup>», и так остались наедине гуцул и Смерть.

Баба Смерть всегда выбирала для себя обличье бесполезности: глядела осенью в саду побуревшим яблоком в белом кружеве плесени, оборачивалась распустившимся на нитки отрезом ткани или угоревшим за день утенком. А еще она любила смотреть на всех из черного бездонного колодца – брось в него камень, и не всегда услышишь всплеск.

В этот раз Смерть явилась подвешенной за ноги косулей, грязь еще не засохла в черных раздвоениях копыт, кровь – в устьях ноздрей, но шея не изгибалась больше волей, ноги не упружили настороженностью, а в глазах появилось знание, которое, должно быть, ее и убило. Микош не находил в себе сил отвести от нее взгляда и скоро сам стал сомневаться, что жив. И тогда ему открылся третий глаз косули – черная рана во лбу, грубая и разъявленная. Это и смотрело на него вечностью, и тянуло неустанно к себе.

И что-то в нем отозвалось и будто бы перевернулось. Ему начало казаться мерзким все, что означало жизнь: и теплый в своей колкости *ліжник*, и важнобокие горшки со съестным, и застоявшийся в колыбе душок, писк и шорох полевок в углу. Да разрази все это беспокойное и развеселое гром, думал он, пока гроза еще не прошла над полониной, пока была она близко и низко, пока тучи можно было черпать ведром...

Гроза стала еще ближе, отворилась дверь и, пересыпая все каплями дождя, внутрь ввалился кальман. Он сбросил с себя мокрую, зеленоватую *гуглю*, и Микош только тогда заметил, что одна рука у него высохла и не разгибалась, как подточенная лоза. Левый глаз оказался черен и ни за чем не следил, – или, напротив, видел сразу и все. Рот его скривился однобоко, будто кальману все время было жалко кого-то, или он собирался что-то сказать, но так и не мог решиться. Он зашел и осел с тем видом, с каким на последнем слоге одновременно задувают свечу и выдыхают молитву.

– *Обіч лишив флюяру*<sup>15</sup>?

Микош не собирался этого говорить или собирался, но что-то другое. Потом только вспомнил, что даже не поприветствовал кальмана, да и как было здороваться с тем, кто не жил в селе среди людей и в церковь не ходил? «*Слава Й'сусу Христу*»?

Он не хотел этого, но слова отчего-то вышли обидными, может быть, потому что ему было все равно. Кроме того, ему было совершенно все равно, как, в каком виде и с какой именно трембитой – играющей или намертво разошедшейся, – с ним в село спустится кальман. Главное, повторял себе Микош, он должен был во что бы то ни стало вернуться в село с трембитой, потому что в его положении так было должно и прилично. Утро было потрачено на следование приличиям, вчерашний день был потрачен на то же самое: все пустое; он ощущал, как вокруг время замерло и все будто бы перестало быть истинным, наполнившись не настоящим нерав-

---

<sup>13</sup> Теплое гуцульское одеяло из валяной овечьей шерсти, да еще и с узорами-оберегами.

<sup>14</sup> Мыши, мошара.

<sup>15</sup> На склоне ли оставил флюяру? Тут нужно сказать, что флюяра – это еще один гуцульский духовой инструмент, поменьше трембиты.

нодушием к его горю, показным, вместо искреннего сопереживания; а ведь на самом деле всем все так же все равно.

Вот и кальман требовал от него сначала соблюдения приличий, а после только дела – и где, в богом забытом крае, даром что «божьи плечи» – да богу и неведомо, что творится на полонине осенью, что ищет кальман, на что надеется – и все не промеж людей.

В тарелке варева, насыпанного пастухом, Микош углядел несъедобное и спешно прикрыл рот рукой, унимая подступившую тошноту. Можно было пресечь ее куском хлеба, но на полонине не сеют даже ржи, не то что пшеницы, – последняя и в селе почти не растет. Оттого хлеба у кальмана не было, одна только похлебка кровавой густоты, в которой проглядывало месиво мелких кишок. Микош всмотрелся – у извивов оказались рты и глаза, ни дать ни взять – клубок живых змей. Может, так оно и было, но думать об этом, скорее, переживать об этом – вот на что сил у него больше не осталось. Отдышавшись, он снова принялся набивать нутро кальмановым *халаслѐ*<sup>16</sup> – пусть оно будет из пары плотвичек и речных устричек, миног и такого количества паприки, что хватило бы посыпать всю дорогу до Праве Глыбоке... Полный желудок не раздражал урчанием, и только потому Микош доел все до последней ложки.

Раньше он совсем не любил рыбу, вернее, был к ней совершенно равнодушен. А вот мать его, Лина Ракоци, кажется, находила недостающее ей счастье в копошении в разваренных рыбьих головах. Может быть, оттого на ее тонко-шиповой губе багровел синяк размером с терновую ягодку, а длинные пальцы были покрыты грубыми морщинками, будто она только что вынула их из воды. Сама она была высокой, и было в ней что-то, что ее всегда из толпы выделяло: должно быть, легкость и вместе с тем непомерная гордыня. Волосы ее были так же светлы, как одетые в осеннее золото церковные липы, пронизанные ладаном и хоралами, а еще тонки, и в сухую погоду завивались виноградными усами на концах. Микошу ничего почти от матери не досталось: ни в облике, ни в мыслях, и все казалось, что именно за это она его так невзлюбила. Ничего в его стати не было от ее невесомости, и разговаривал он так: октябрьским грузным ливнем, тяжело упавшим срубленным буком. Но мать была совсем другой, и когда улыбалась, то в морщинках у глаз собиралась и лисья хитрость, и одновременно с ней, почти кощунственно – едва ли не святая простота.

Мать сама как-то рассказала ему, как в детстве по глупости сломала нос о балку в родительской хате, – и хохотала над собой так, что после не было уже смысла плакать. Микош бы так никогда не поступил. А еще терпеть не могла флюяру, и трембиту тоже – так отчего, скажите, он должен был тащиться к бесам полонины за всей этой непотребной музыкой?

Он хорошо помнил, что мать, слушая наигрыши овчаров, так характерно склоняла голову набок, что сразу становилось ясно: она терпела, только потому что так было заведено. Трембита за большим застольем появлялась часто: провожали скот на полонины или иного гуцула в последний путь, а матери все не нравился протяжный ее, трубный зов, – тогда как Микош ничего плохого в нем не слышал, сколько ни вслушивался. Овчары, игравшие мелодию, заметили Линыны корчи, но не обиделись: «*ніц гаманіть*<sup>17</sup>». Все тогда засмеялись, и Микош вместе с ними, да возьми и ляпни продолжение пословицы – то, что все имели в виду, но никто вслух не сказал: «*ійек гáзда в гра́жді гарує*<sup>18</sup>».

Маленький Микош и сам тогда испугался, что наделал.

Мать вдруг изменилась в лице, бросила в тарелку недоглоданную куриную ножку – рыба или курица, вот все, что прельщало ее из еды, – закрыла веки сморщенными своими кистями и горько заплакала. На сына она не смотрела, но отчего-то ему казалось, что если бы сделала это,

<sup>16</sup> До чего наваристым этот суп из рыбы, паприки и томата выходит на берегах Тисы.

<sup>17</sup> Нечего поднимать шум, но это если толковать это изречение по-простому, а если вспомнить, что такое *ніц* – пустота, ничто, – то и смысл выражения меняется: «ничто балуется».

<sup>18</sup> Когда в доме есть хозяин (мужчина).

то таким взглядом, будто он заложил родную хату или повел себя с ней хуже самого беспутного пьяницы.

Вдовесок кто-то проговорил вслух – «как Полорогий<sup>19</sup>, ей богу». И от этих гадких слов Микоша захлестнуло горячей подливой гнева. За что они так о нем?

И тогда начал про себя перечислять, кто же мог так плохо о нем подумать и вслух такое высказать.

К примеру, есть такие добрые люди в селе, зовутся Божейки. Все их знают, – они точно такого не могли в сердцах ляпнуть. Божейка, плотная в теле хозяйка, но не как кадушка со сбежавшим тестом, а как сруб большого дерева, – уткнула черные глаза в тарелку и так сидела. Красный платок и стеклярус на ней всегда чист, ни пятнышка, – оттого все ее слова и дела никто никогда не ставил под сомнение, и не искал в них темной трещины.

Были за столом еще Хвидорчуки, *найфáйни*<sup>20</sup> люди, – они тоже опустили чарки. Хвидорчучка с голубыми глазами была, и такими беззаботными, легкими, что даже когда поучала кого или ругала со скалкой, люди то за благость считали. К ней даже исповедоваться через плетень ходили, пока батюшка не запретил. А Хвидорчучка за то ему палинку выкатила: отвлекали ее, видишь ли, этим. Тут грядки полоть надо, а все идут и идут со своими бедками – то ребенок плачем заходится, то муж помер... Не хотела слушать их, в общем, но отчего-то и сказать об этом вслух не могла.

Хвидорчучка зыркнула на Микоша осуждающе, быстро, а после подлила его матери сливовицы пышнохлебными своими пальцами и принялась шептать что-то женское, тайное и о мужчине, и гладить стала легонько по плечу. Божейка подняла глаза и стала смотреть на Микоша так, будто силилась сказать что-то без слов. Мужчины за столом молчали. Так и продолжало в воздухе висеть нечто густое, вязкое, как холодец, – пока кто-то не упал со стула и не уронил за собой тишину. Тогда все облегченно вздохнули, и снова стал слышен беззлобный смех. А Микош все глубже погружался в раздумья. Кто же мог обозвать его Полорогим – таким мерзким и таким страшным словом?

---

<sup>19</sup> Полный рог – понятное дело, отсылка к нечистому.

<sup>20</sup> Лучшие то есть.

## Глава 2. Полорогая днина

Тут нужно сказать, что историю о Полорогом в Глыбоке никто не захотел бы слушать, Микош в этом уже не раз убеждался. Он пробовал рассказывать ее взрослым – те лишь снисходительно кривились и продолжали разговор с его матерью. Микош злился, обижался на их невнимание, но его все не слушали, какими бы шутками, выдумками и выкрутасами он не пересыпал историю свою о Полорогом. Так и оставалось рассказывать ее самому себе, представляя вместо слушателей обычно невнимательных к нему селян.

Чаще всего в этой роли он видел заезжего писаря – у того лицо такое, как стесанная ножом репа в неурожайный год, а глаза как у собаки, что знает, где зарыта чужая кость. Но писаревы рожи и корчи на свой рассказ Микошу скоро наскучивали, и он принимался представлять других слушателей. Его *выдуманная* Божейка то и дело хмурилась и во всем стремилась найти скрытый смысл, который ей одной разгадать положено. *Выдуманная* Хвидорчучка временами принималась плакать, махать рукой и утирать уголки глаз подолом, будто он не о чужом, а о ее собственном сыне рассказывал. Но Полорогий не мог быть ни ее сыном, ни даже родственником, иначе не быть ей *найфайной* Хвидорчучкой, а родился он много лет назад в семье у других гуцулов – Магды и Боруха Галярёпы<sup>21</sup>.

Магда и Борух были в селе уважаемы всеми, имели только добрый урожай и скотину до той поры, пока у них в хате не завелся Полорогий. Магда любила мак, и поздней весной всегда зубами разгрызала первую головку – чтоб детей родилось много и гражда ломилась от яств и богатства.

Тут надо сказать, что *гражда* – непростое жилище и исконно гуцульское. Гуцулы народ работающий и гостеприимный, даром, что когда много сливовицы или палинки выпьют, то сразу за бартки хватаются и ну такие театры устраивать, что позавидовали бы заезжие актеры. Только откуда же театрам в те времена в Серебряной Земле быть? Не было таких, вот и развлекали сами себя, как могли.

И оберегали тоже, и для этого придумали строить не хату, а *гражду*: дом, добро срубленный, из дубовой или все больше *смерёковой*<sup>22</sup> древесины, а вокруг так хитро забором обнесенный, что крыша с забором сочетается, и не заберешься во двор никак. И в таком дворе, – закрытом, – и мастерскую устраивали, и бочечку для варки *леквара*<sup>23</sup> ставили, имели и птичник, и сарай для скота, и погреб для всего съестного, и особенно для рождественского *шóвдаря* – копчености из свинины, на вишневых дровах продымленной... Под крышей делали всегда сушильню для наструганных летом плодов – *крóшева*. И все это так было ладно сокрыто, что ни медведь, ни злой какой человек не могли проникнуть и всю эту благодать разрушить.

Гражда к гостям приветлива и всегда держит лишнюю крынку молочной гусянки и тарелку отменной грибной юшки. Но к ворам, пьяницам и душегубам она слепа и глуха, и никогда их не впустит, и тьмы с полонины тоже.

А тьма приходила.

Все чаще сырыми, промозглыми ночами, когда зиме еще не срок и осень уж вся вышла, а впускали ее такие, как Магда.

Ей ведь однажды мало стало обычной ворожбы на маковой головке, и она решила в такую-то неясную пору колдовством еще больше себе стяжать. Чтоб не меньше, чем у Хвидорчуков было! Дождалась, пока Борух и дети заснули, дверь в гражду отворила – а сама стоит,

---

<sup>21</sup> Тут нужно заметить, что у гуцулов имя Магда никогда не было самостоятельным именем, но, как и Лина, являлось частью имени Магдалина. *Галярёпа* – корнеплод.

<sup>22</sup> Особая карпатская ель.

<sup>23</sup> Варенье из уваренных слив.

ждет неизвестно чего на пороге, трясется. С ножом в руках, в одной только тонкой сорочке, с иглой, зажатой в зубах, – зарок, что никому не расскажет увиденного. Еще и лицо сажей вымазала, чтобы нечистый ее не узнал, как на другой день в церковь идти будет. Так она вышла во тьму, всмотрелась вдаль, скинула с себя сорочку и досталась нагая ветрам и холоду.

Что там такого в ту ночь увидела Магда, и увидела ли – кто ж теперь разберет? От волнения или от страха она вдруг затряслась еще больше и замычала, крепко сжимая зубами иглу, и чуть ее не проглотила. И едва Боруха не разбудила – вот бы он ей всыпал за ворожбу! И так до самой смерти Магда никому и не смогла рассказать, что с ней случилось в ту ночь и что спустилось за ней с полонины.

Как умирала, все хватала селян за руки чуть повыше локтей – и все равно не могла рассказать ничего, только «я...я...я...» – и стекленели широко раскрытые и покрасневшие глаза. Ниц уж над ней склонился – тому только и выдохнула последнее слово и отошла в мир иной.

Но в селе все всегда знают. В Глыбоке все решили еще при жизни Магды, – что к ней сошел нечистый, и что был он из той породы, что ходят по ночам по селу, постукивают копытцами по крыше и забору, путаясь со звуками дождевых капель, да только не дождь это совсем – и все не могут зайти внутрь, пока посреди ночи кто сам не впустит...

Одни говорили, что нечистый был нездешний и вельми рогатый, другие клялись на образах, что напротив, комольй, трети – что светился он весь в темноте мотыльковым особым отблеском, а четвертым мерещилось, что прикрывал он наготу одолженным пальто. Но все сходились во мнении, что даже из-под полы был виден в ночи его *мóтлох*<sup>24</sup>: бесцельно, срамно болтавшийся между ног до земли; а поутру на том месте вырастали дурные травы: дурман, белена и *псячья гречка*<sup>25</sup>.

Магда ведь и сама знала, что согрешила. Но той же осенью округлилась, и все скрытно носила плод от мужа, хоронилась от него и от людей в холодном погребе, будто головка брынзы, и пропадала среди птиц в поле, и по-особому хваталась за поясницу от вороньего карканья. До первого макового цвету Магда родила: сначала мертвого ребенка, а после – живого.

Говорят, что Магда так и не смогла расстаться с мертвым ребенком. И что, прости Боже, он ей полюбился больше второго, живого. Оттого первого, мертвого, любимого, она похоронила прямо в своей с Борухом гражде, под тропинкой, ведущей от сырого погреба к птичнику: чтобы хоть через земельку его чувствовать.

Так ли все было на самом деле или в селе все выдумали? Боруха и Магды давно нет на свете, и Галярепьячей гражды тоже нет, разлегся на ее месте черным змеем Сойферовый<sup>26</sup> запуст – злое, нехорошее место, где ни фасоль, ни даже конский щавель не растет. Ничего хорошего здесь не происходит, и лишь окоченелыми рассветами пестуют бесы колтуны ежевики...

Галярепьячу гражду сгубил некто Кий Середульный.

Старший сын Середульного был пьяница – да Кий и сам потом спился. Но прежде пошел и разрубил Борухову гражду в щепу, сделал это за сына. Долго ждал его однажды в ночи, лучину зажигал, двери темноте открывал, звал подлунно – а тот все не появлялся из шинка<sup>27</sup>. Лишь к обедне нашли сойферового сына Середульного на запусе близ Галярепьячей гражды – некому было открыть ему, некому: гражда давно пустовала...

Середульный не плакал, он волком завывал над сыном, даром, что пьяницей непутевым: сынку, сынку; селяне отворачивались от чужого горя, а к вечеру Кий взял и сгубил Борухову гражду. Разрубил в щепу.

С тех пор это место не то, чтобы проклято, десять ба-

---

<sup>24</sup> Мужской уд.

<sup>25</sup> Сорная трава.

<sup>26</sup> Сойфер – то же, что и пьяница.

<sup>27</sup> Злачное место.

тюшек из десяти храмов освятили, чтоб народу не так страшно было в церковь ходить и на святки по Сойферову запусту. А все равно люди здесь всякое видели, и с груши-дички, что одиноко тянула ветви к солнцу сквозь колючие заросли, плодов не брали.

Всякое видят здесь люди, всякое... Говорят, сам Полорогий в ночь перед большими церковными праздниками на запуст является. Ищет он родную гражду и все не может найти, а кто с ним встретится в такую годину, имя свое забудет до самого Страшного суда.

Особо страшно было Полорогого встретить в ночь перед Рождеством. В эту, особую ночь он будто бы всегда ведет под уздцы тварь белую, укрывает ее заботливо одолженным у Ниц пальто с волчьим воротом, и молчит. А у твари не четыре ноги, а пять, и пятая висит, словно кабачковая плеть, бесполезна и по земле волочена. Идут они долго, и лишь у самой церкви расходятся. Не прощаясь, не обнявшись, не пожелав друг другу доброго пути...

Еще пугали в Глыбоке друг друга полорогим семенем. Это если бабу трогать в дни, когда нельзя, – то проснешься утром с шишкой на лбу размером с сельдереев корень. А если еще с такой бабой пить, то можно силу свою в вине утопить. Но если шишку хоть сразу видно, то другие так и живут потом с сухой фасолькой меж ног и на женщин кричат и их же стесняются.

Божейка слушала всегда такие истории будто нехотя, всем своим видом показывая, что ей нет дела до проделок нечистого. Хвидорчучка всем своим видом показывала, что и нечистому до нее дела нет.

Один только Саввушка слушал обычно Микоша с его бесконечными историями, Саввушка, Марамушский сын, маленький мальчик с совиным пухом вместо волос и такой выпиравшей верхней губой, что казался заюшкой, кто такого обидит? Микош как-то сказал тому, что если бы у Саввушки то была не губа, а пирожное, то его бы все равно на стол подали, потому что хоть и запеклось не ладно, но важнее что внутри, верно?

И Савва его за это любил. Он от Микошевых историй аж под стол бывало валился вместе со стулом, да еще и от страха ногами подрыгивал, как вылавливаемое поросля. И тогда Микош принимался еще больше пугать Саввушку и рассказывал ему, наконец, историю Полорогого.

А случилось все в день, который после был назван в селе Полорогой дниной, но только никто не хотел запоминать, когда же этот день была на самом деле. Кузнец ругался Полорогой дниной, когда у него не ковалось ничего, отче шептал про себя анафему Полорогому, когда путал слова молитвы. В такой день у пахарей ломались плуги, у вышивальщиц путались нитки, и сами собой на деревьях червивели яблоки, опадая в садах мерным стуком не вызревших надежд.

Тот день изначально был крестинами другого Борухового сына, который родился за Полорогим. Магда к тому времени как-то осела в росте, так и осталась похожей на тыкву и принялась рожать детей одного за другим, будто все хотела замолить свой грех. Но сколько бы опять не родило трухлявое дерево, сердцевина его не переставала быть с червями...

И Хвидорчуки, и Божейки собрались на крестины – для них дело привычное, если не сказать, будничное. Микош как-то слышал, Божейка обмолвилась за столом, что, мол, своих крестниц и крестников могла бы собрать целую рать, а Хвидорчучка, возведя глаза к Отцу небесному, проговорила, – что она крестная мать всему миру...

Божейка явилась вместе с мужем первой и принесла в дар скриньку с нитками: желтыми и голубыми, какие сама в шитье не использовала, и залежались. Хидорчучка сгребла в мешок и нанесла всего, что не так бы и нужно, но в хозяйстве сгодится: шалфею, соли и паприки, да деревянные грабельки. Обе семьи стояли с таким видом, будто одарили Галярепьяче семейство златом и серебром.

Был тогда на празднестве еще Кий, Середульный – чисто выбрил лицо и не брал до того неделю ни капли в рот, так, что и сойфером язык не повернулся бы его назвать. Впечатление портила лишь его жена, опускавшая глаза при виде Божейки. Глядя на это, кто-то не выдержал

и назвал, наконец, Кия сойфером, а дар его, молодую ярку с пахтовой шерстью, выпустили пасть по гражде, даром, что такая слякоть стояла, что стыдно было в гости звать честных людей в тот день.

И все прошли за стол, в хатку, простучали по настилу крытой галерейки – кто каблуком, а кто пяткой в постолах. Вид у всех был праздничный, Хвидорчуки по правую руку сели от Магды и Боруха, Божейки – по левую, а Середульный и остальные уж напротив. Ниц опаздывал, и начали, как водится, без него.

И только запустили ложки в кутью, как открылось всем дивное зрелище, будто бы личико новокрещеного ребенка разом ко всем обернулось и сделалось таким белым, что затмило собой солнечный свет. Селяне стали причитать и креститься, Божейка прикрыла глаза, будто принимая Божью милость, а Хвидорчучка на радостях совсем закрылась подолом и пустила слезу, преисполненную благолепия. Один только Кий сплюнул, памятуя, что там, где явлен был людям Божий свет, неминуемо следует ждать черного змея, что в самый благостный миг уж размыкает кольца непростительной тьмы.

Подали зеленые щи с яйцом и кукурузным хлебом, а отчего-то во рту у всех стояла будто гречка с потрохами. В ушах жужжали мушки, селяне ели и настороженно переглядывались: кто заслужил явление чуда, кому было показано? Неужто всем? Так не бывает, только священник внушал гуцулам на проповеди, что любовью Всевышнего обласканы все люди, без исключения, но в простой жизни за воротами церкви все иначе: здесь стынут в ночи пьяницы на запусте и бабы плачут, закрываясь от стыда...

Но на крестинах все сидели с такими лицами, будто ничего дурного на свете и впрямь не бывает, стучали усердно ложками по тарелкам, и капли пота пахтою выступили на маслянистых лбах от бессловесной духоты.

По столу, меж зарослей рук и бутылей, пробегал солнечный зайчик. Он был искренен в своем молчании, но еще больше удивил нелюбимого Магдиного сына, когда заговорил с ним. «Отчего ты не ешь со всеми, Михайло», – обратился к нему одному солнечный зайчик. – «Или тебе не вкусна еда отца и матери?»

У Магдиного сына задрожала ложка в руках, он спешно ее положил, но затряслась и губа. Он знал, что крестины – добрый праздник, на котором никому не положено плакать. И от того, что делать этого было никак нельзя, весь вдруг затрясся, словно бы подрубленная лесником березка. Ему начало казаться, что еще чуть-чуть, и все заметят, что с ним что-то не так, и что это что-то не имеет под собой никакой (для взрослых) причины и что за это его непременно отругают и выставят вон во двор, и мать больше всех будет на него обижаться, и никак ей не объяснишь, что он не нарочно и ни в чем перед ней не виноват. Магдин сын обхватил колени под столом, так, чтобы никто не видел, своими скукожившимися против воли пальцами, и принялся искать утешенье в чем угодно, но ласковый зайчик уж выпрыгнул в окно.

И тут взметнулась крылом и как-то беззвучно ахнула со стола белая скатерть.

Она поднялась промеж всех ввысь, так высоко, что зависла под самым скатом крыши, куда поднимался лишь дым от печи и трубки отца, и, может быть, мысль.

Скатерть казалась ему огромным барашком, заслонившим белым боком весь мир от него. Она была неуловима, как гаснущие утром звезды, а после перевернулась и перевернула собой все.

За ней, за скатертью, не оказалось совсем ничего. Было темно, но не как ночью, а будто бы тьмой колодца, безнадежной тьмой колодца. Магдин сын сидел в этой тьме тревожно, не в силах вздохнуть, сердце билось то часто, то замедлялось в неясном предчувствии. Темнота, разлившаяся кругом, была болезненной, что-то в нем стремилось к ней последними силами, а другое что-то, напротив, застыло, страхась и готовясь взвыть безбожно от страха.

Где же ты, зайчик? И отчего тьма непобедима...

Тишину ничто не нарушило, она вдруг упала сама, разорвалась, вырвалась изнутри громким криком, когда больше не смог терпеть. А после пронеслась над столом причитаниями, отодвигаемыми лавками и мокрыми полотенцами ко лбу. Крестины разом кончились, а вместе с ними схлынула одна большая духота. Во рту стояла будто бы полынная горечь, она лишь усиливала буйное какое-то удовольствие от мысли – все кончилось, все кончилось! Не нужно было больше сидеть, притворяться, что зла в мире нет и делать это из последних сил, и чтобы никто не заметил, как ходили ходуном его острые коленки. И только мать смотрела на него, будто только что кто-то умер. А после во дворе все сильнее терла с пеплом белую скатерть; но так и осталось на ней большое пятно в виде расплостертого нетопыря.

Так Михайло перестал зваться Михайлом и стал зваться Полорогим, как к нему прилепилось такое прозвище, он и сам не мог понять. Ему ничего больше не объясняли, не учили, и вели себя с ним так, будто терпели из милости. Таких не привечают на улице и за глаза называют *варіят* – гуцулы не кличут сумасшедших *божевільними*, они знают, что не может быть божьим человеком тот, кто и в свете видит тьму.

«Ми-хай-ло», – прокаркает разве что большая ворона, похожая на забытый невесть кем на крыше нехороший сверток. «Хай, хай, хай» – «кроу, кроу, кроу», – и разойдется, обезумев вместе с ним, бесшумно снимется с места и исчезнет в сплошной завесе сорокадневного дождя.

Такой дождь ведь почему бывает? Скажете, умер кто или великое зло свершилось? Нет же, просто пришло время.

Вот и время кальмана подоспело. Повисла безвольно рука и искривлен болезнью рот, так, что и женщины к нему на полонину больше не шастали. Меж головок брынзы в еловом лапнике в колыбе все еще была трембита его, и флюяра, и кальман делал вид, что ничего не случилось плохого, – и лихо дримбал на пригорке, развлекая углозадых коз и заплутавшие рассветы. Но не клонились больше жаворонки долу на крыло от переливов его музыки.

Микош возвращался в село ни с чем. Вымокший до последней нитки, будто и не вбирала до того его одежда тепла костра. Будто тот был извечный, не гаснущий, но и не настоящий какой-то и ничуть не греющий...

Кальман не дал ему с собой даже мелкой флюяры и, уж конечно, не научил за ночь играть на ней, как Микошу грезилось. Вместо этого вынул из кармана детскую игрушку, слепленную из сыра на удачу: маленького и кривого коника с гусеничными ножками, с ушами – будто рогами и рыбьими выпученными глазищами.

Не коник – а великий змий.

### Глава 3. Одиночество

Есть такое слово – одиночество. Но почему, Микош недоумевал, отчего одно это слово означало и мужчину, живущего отшельником, и покинутую женщину?

Гуцул, когда живет один, всецело сохраняет свой дух и естество, и ходит так же важно, как и всегда. Сидит когда один на завалинке, то курит трубку все с тем же величаво-буковым, нерасторопным видом, как и когда имеет жен. Гуцулка же, оставленная мужем, меняется вся изнутри. Рассветным туманам наказано огибать ее гражду и уходить в горы другой тропой. И пусть просыпается не в радостном розовом свете и зацелованной возне, – а просто потому, что так должно, в серой влаге сваянных сумерек. Замечали ли вы когда-нибудь, как ест одинокая женщина?

Делает она это медленно, оттого, что времени у нее предостаточно. И, казалось бы, благостная эта нерасторопность должна служить поводом к радости. Но беда в том, что временем она с лишком богата, и оттого во взгляде ее сквозит лишь обреченность запертой на зиму в кошаре ярки. Она не рада себе самой и своему покою, и даже *найфайному сегедінски*<sup>28</sup> не улыбнулась бы, даже таким не соблазнилась бы, в котором мясо до того мягко и сговорчиво, что само отстает от костей, и виноградным голубцам, лопающимся от жира, кукурузной крупы и свиных шкварок, – ничему она была бы не рада. Киньте ей в тарелку колкого горчичного листа и недоваренную брюкву – вот то, что приличествует старухе по имени Одиночество.

Языкастой Ярославе, спустившейся к Микошевой гражде с горы Горбатко (где была, блудила?), хотелось вмазать эту самую брюкву в лицо. Потому как была она такая язва, что если б кто набрался смелости и взял на себя грех убить ее, то, Микош был уверен, священник отпустил бы тому, да еще б насыпал с собой даров. Да что священник, все село гуляло б три дня и три ночи. А после – засучало бы. Как же без слухов и сплетен-то?

Ярослава обладала языком таким длинным, что мужчины с длинным *мотлохом* робели перед ней – ну как оклеветает перед всем селом, и назавтра девушки будут только прыскать и закрываться ладонями. Да что и говорить, зимой, если б язык Ярославы заледенел, можно было взять салазки и прокатиться по нему до Киева и обратно.

Зубы ее от бесконечных пересудов давно смолотились в мелкое крошево изжелта-серой прошлогодней кукурузы, а волосы сваялись перекасти-полем, то и дело выглядывавшем из-под косынки за свежими сплетнями. Узоры островерхих домиков на одежде обещали встречу с затхлою скарденностью ее ветхого жилища – да кто б еще заглянул к ней, да кому нужна. Лучше уж коровий навоз разгребать целый день, чем стучаться в гости к Языкастой Ярославе.

– А что, Микоше, отец не приехал, нет?

Вот так его встретила карга – ни здравствуйте, ни как вам теперь живется. Микошу захотелось схватить ее после таких слов за волосы, раскрутить изо всех сил и закинуть подальше – куда-нибудь если не на Черногору, то хотя бы за Теркату Бабу. Так ведь еще вернется и всему селу расскажет, наврав с три короба и выставив его вселенским душегубом.

Микош попробовал улыбнуться, представляя при этом визг раскручиваемой за волосы карги.

«*Фіфак*<sup>29</sup>!» Языкаста бросила ему это с таким видом, будто он лез к ней, а она отказала ему в танце на вечерницах. А кому это нехорошее слово предназначалось – самому Микошу или его пропавшему без вести отцу, он уточнять не стал и скорее пропустил ее к себе во двор.

<sup>28</sup> Яство так и зовется – *найфайший пан Сегедінски* и заслуживает отдельного трактата, но доведется ограничиться кратким упоминанием: готовится оно из свиных ребер, томленных в котле с квашеной капустой, заправленных паприкой, мукой и вкуснейшей сметаной.

<sup>29</sup> Нехороший и ленивый человек.

А что касается его отца... В том все и дело, и в двух словах так просто не расскажешь. Отец как бы и был в его жизни, но он его совсем не помнил, и обращался за этой утраченной памятью к предметам, которых тот когда-то касался. Потому что спрашивать у матери об отце... Легче было год провести с Языкастой Ярославой, одновременно разгребая навоз.

Ласло Ракоци, – так его лишь раз или два упомянула мать, а после величала не иначе как «*газда постóлів*<sup>30</sup>», намекая на то, что ушел – и нечего теперь вспоминать. А Микошу вспоминать хотелось, и он трогал кухонный стол за края, представляя, как между лавкой когда-то протискивался отец, как утирал, должно быть, усы и рот после особо сытного обеда. Мать его когда-то готовила вкусно, это после что-то с ней случилось, а что, он так и не смог понять, как и то, почему она не могла говорить с ним об отце.

Микош искал ответы в невысказанном. Несколько раз заглядывал вночи в старое зеркало со свечой. Но это дело пришлось прекратить, когда мать застала его однажды в таком виде в ее собственной юбке. Что она о нем подумала, неизвестно, но плакала долго и кричала тоже. А Микошу казалось, что к нему, неузнанному, отец из зеркала может и не выйти, а вот материну вышивку на подоле он точно вспомнил бы и непременно вернулся.

Вспоминать отца, что правда, недобрым словом, любила часто заходившая к ним пани Беата. На самом деле была она никакая, конечно, не пани, может, чья-то внебрачная дочь, или только ей представлявшаяся. Хата у нее была (хата, заметьте, а не гражда, будто жила она не в наполненных опасностями горах, а где-то промеж виноградников Балатóна<sup>31</sup>). А вот обширных земель, с которых можно было б продавать лес и вино, – вот чего у нее не было. Но, что Микоша в ней странно раздражало, она пребывала все время в какой-то уверенности, что эти земли вскорости могли у нее появиться. И порой и правда что-то значимое появлялось, и как-то даже Беата сделала к хате пристройку, и капліцу<sup>32</sup> поставила – как, на какие гроши? В другие времена она заходила к Микошевой матери чинить домашние коврики и юбки, сама была не рукастой. И мать корпела при свече, латая топтанные чужими сапогами ковры, – Микош был уверен, что мужскими сапогами, в то время как у них в доме мужчин после отца не водилось.

Мать запрещала ему вступать в перепалку с Беатой, оттого как та приносила какие-никакие – но деньги (в иной раз, правда, Микош замечал, что расплачивалась она утиными яйцами, но мать отказалась с ним говорить и об этом). Чтобы не сказать той чего плохого как бы нечаянно, Микош в минуты ее пребывания в доме принимался наблюдать за работой матери. И материн лик в такие мгновенья будто начинал светиться по краям, а в глазах появлялось что-то от теплой и ласковой осени. Руки вспарывали ткань иголкой часто-часто, но делали ей совсем не больно, а лишь помогали вернуться назад к хозяйке, не быть выброшенной, не нужной...

Беата обожала кофе и сплетни, и ради нее в доме держали и то, и другое. Ее прихода ждали, – Микош все этого понять не мог, и как-то даже взялся подыгрывать матери, долго дожидаясь «пани» у гражды, приветствовал по-венгерски и склонился в поклоне – *ходь ся важсите*<sup>33</sup>? Беата рассмеялась, а мать накричала на него, чтобы больше никогда так не делал. Так он смог преспокойно удаляться из дому, пока Лина Ракоци встречалась с венгеркой.

Да и за что можно было любить Беату? Это же страх, посудите сами: когда речь заходила о деньгах, да даже о какой тряпице никому не нужной, глаза у той так расширились, будто угольки, распалаемые скаредностью, – не быть тряпице выброшенной, все в дом! Микоша забавляли еще ее черные усики, словно у жучков, того и гляди зашевелиятся. И выпирающий бочонок живота из-под каким-то хитроумным способом утянутой талии тоже заставлял прыскать от смеха, ловить недовольные материны взгляды и скорее уходить во двор.

<sup>30</sup> Хозяин своей кожаной обуви, и только.

<sup>31</sup> Если кто не знает, то речь о большом и прекрасном венгерском озере, что и не так уж далеко от Глыбоке.

<sup>32</sup> А это маленькая придорожная открытая молельня.

<sup>33</sup> Микош путает венгерское *hogy vagy* (как ваши дела) и гуцульское *як ся маєте*, и выходит у него – сколько вы весите.

Раз он так далеко забрел, что встретил дитя диких<sup>34</sup> людей.

Он сразу понял, что это было оно, ведь рядом совершенно никого из взрослых не было. Не паслось ни коз, ни овец, ни другой какой домашней живности, а встретившаяся собака перекосилась, взвизгнула и скорее зашпешила обратно в село.

Дикое дитя сидело на пригорке – подумать только, с каким богатством! – чистой, не испанной бумажкой и угольком в руке, и затаенно молчало, будто прятывшийся под камнем росток пырея. Было по одному только его виду понятно, что говорить оно умеет, только отчего-то не хочет, и губы поджимает, словно ткань морщится, когда тянут слишком сильно за нить.

Микош подошел с подветренной стороны, как его учили, как к зверям, – и встал на расстоянии двух вытянутых рук. Обернись дикое дитя волком, убежать бы все равно не успел. А он и не хотел убежать – так занимательно оказалось следить за угольком, тот то частил вприпрыжку, то раскланивался со всей торжественностью, устремляясь вниз, а то отрывался от листа и зависал над ним бескрылым бражником... И травы, и ветер, и даже трясогузки не могли соревноваться с угольком в этом движении жизни, и лишь смиренно вторили ему, как могли.

Чем дальше всматривался Микош в лист, тем больше узнавал в нем родное село, наблюдаемое будто с горы. Когда же начал проступать ясно и крест с видневшимся вдали гарнаглевским храмом, в нем что-то дрогнуло.

– Ну все, хватит чиркать то, о чем понятия не имеешь, – и неожиданно он вырвал лист из рук дикого ребенка, и тот удивленно уставился на него. Словно бы и не верил, что у кого-то может подняться рука на него самого или сотворенный им рисунок.

И Микошу вдруг стало обидно от такого взгляда. Хотелось и правда броситься на дикого ребенка с кулаками, но тут он вспомнил материну присказку, что слова порой могут ранить сильнее ножа, и постарался всю боль свою вложить в незримое это орудие.

– А раз ты такой мастак рисовать то, чего не знаешь... А нарисуй мне моего отца!

Две голубые незабудки диких глаз уставились на него, как бы изучая, схватывая. Микош все ждал, что существо вот-вот сбежит куда-то далеко, за Шар-планину, и никогда больше сюда не вернется. Но вместо этого мохнатая ручонка достала из недр собственной шкуры еще один, маленький и скомканный листок бумаги, торжественно его расправила и принялась сочинять Микошу его отца.

К закату, когда им предстояло неминуемо попрощаться, рисунок был готов.

У нарисованного Ласло Ракоци оказались такие богатые усы, переходящие в бороду, что приличествовали бы самому главарю венгерского восстания. Глаза с угольными зрачками обзревали невидимое сражение перед собой, а лоб морщился, подсчитывая боевые потери. В скулах и подбородке было что-то, удерживавшее ретивого коня под ним. Микошу отец понравился, и он даже взял рисунок с собой в село. Пока он рассматривал листок, дитя и след простыл, а за часторядьем берез уж мелькали чьи-то глаза – то ли волчьи, то ли вепревые...

«Бывай здоров!» – Крикнул Микош, и ему показалось, что до того, как глаза растворились в темной коже ночного леса, в них промелькнуло что-то от голубых незабудок.

Как назло в тот миг, когда он, радостный поболее, чем в канун Рождества, возвращался с портретом отца домой, там оказалась Беата со своим недошитым ковриком. Мать сердилась на себя саму, что не успела закончить все до заката, и что придется провожать «пани» с пустыми руками. Та отчего-то тоже была бледна больше обычного, и так они встретили Микоша из лесу.

Беата молча протянула руку в агатовых перстнях с черненым серебром за микошевым листочком. Вперилась в него своими глазами – не-способными-ничего-нарисовать-угольками, – поморщила губу, заставляя усики топорщиться, словно заросли, через которые только что продирался жук. И натурально расхохоталась.

---

<sup>34</sup> *Дикі люди* в представлении гуцулов – совсем не люди, а лесные существа, пасущие зайцев и косуль на манер овечьих отар.

Микош какой угодно реакции ждал от нее, но не этого дурацкого хохота, не смешного совсем, такого, что за него хотелось ударить. «Эт что за генерал?» – Слова отлетели от Беаты ошметками, будто пена у рта большого, отряхивавшегося пса.

– Это отец.

Мать остановилась в работе и взглянула на Микоша тем взглядом, каким одаривают целое кукурузное поле, безнадежно пораженное гнилью. Беата снова расхохоталась остатками дурацкого смеха. «Пойду я, пожалуй, Лина, брось, не дошивай, не нужно мне это сегодня». Усталость матери не смогла скрыть ее разочарования – она-то ожидала получить плату за труд сегодня, пусть даже утиными яйцами (вот Микош в ней все этого понять не мог). Но и в следующий раз она радушно примет Беату, и ее ковры, и даже юбки, был уверен Микош, оттого как Беате все можно, а им, простолюдинам от рождения, так вести себя было нельзя.

– Мам, можно отец с нами побудет?

Лина подняла голову и будто впервые всмотрелась в него.

Тут нужно сказать, что гражда их была небольшая, а сама хатка в ней – и вовсе крошечная. Может, просто в ней не хватило места его отцу? Он-то представлял его громадным, больше и выше себя, чтобы в плечах – целый бук вековой, целый лес...

А в хатке ютились лишь свечной огарок с клочком света, пара тканых *вериток*<sup>35</sup>, сотканных из каких попало нитей, из остатков (Беате-то она совсем другие ковры чинила – ого-го!) Чуть подальше была печь с изразцами, но лики на них были все больше растекшиеся, и Микош ничего в них не видел, сколько ни старался, даже когда заходившие к ним селяне тыкали его носом – вот же гуцул, вот козел трубку курит, вот цветок. Да какой это, к бесу печному, цветок...

Грабовый стол был тоже махонький, лавка – узенькая, и ребенку было тесно спать. Оттого ютились вдвоем на кровати под *ліжником* – так теплее. Печь топилась по-белому, хатка-то была новой, срубленной Линиными родителями и от них же ей доставшаяся, – не было в ней высоты. А если б и была, решил Микош, глядишь, добрый хозяин сам бы в добрую хату дорогу нашел. А так – не было у них никого, одни они жались под колючим одеялом, и не было под ним места для кого-то третьего...

«В маленькой хатке и образы к людям ближе», – ответила как-то мать и даже будто обиделась, что он не ценит ее стараний и наводимого уюта. Вот почему Микош направился с портретом отца не куда-нибудь, а напрямик в красный угол, где эти самые образы стояли рядом с оплывшим, почти растворенным ночью огарком (икона изображала мать и дитя). Микош бросил на нее мимолетный взгляд, на младенца с суровым не по годам взором на крошечном образке – у того был другой отец, Всевышний. Но отчего-то ему захотелось поместить рядом с ним и Божьей матерью третий образ – своего отца. Пусть углем, пусть кривой, – но и те двое были не такие, как взаправду, и в уголках их подведенных густо темным глаз Микошу чудился не сорвавшийся крик одиночества.

Чего он не ожидал, так это того, что его собственная, не нарисованная мать кинется к нему в неловком каком-то движении, занося руку, но сама ее тут же и отдернула. И закричала:

– *Не роби*<sup>36</sup>!

«Не рабы», – почудилось Микошу. И он надолго замолчал, перестал с матерью делиться сокровенными мыслями.

Он думал все эти годы, что едва только мать умрет, пойдет и присовокупит портрет отца в красный угол, тяжестью шагов разрывая еще большую тяжесть случившегося. Но Лина Ракоци умерла три дня назад, в сумерках, и отчего-то ему этого делать не захотелось.

---

<sup>35</sup> Это гуцульские коврики.

<sup>36</sup> Не делай, – значит.

Она заболела еще в прошлом году, тяжело, морщась, когда приходилось резко вставать. Потом морщиться стала чаще, вставать – реже, а после совсем перестала, после того случая с коровой – гнала ее домой, да торопила так, что та чуть не задавила соседского ребенка. Вечером Микош сам собирал себе ужин (мать не притронулась), и кусок в горло не лез от ее болезненно-безразличного ко всему виду. И говорить ничего нельзя было в такой тиши, да и не нужно уже было.

Умерла Лина тихо, а попрощался он с ней давно. Пока молча выхаживал ее, лишь приближая смерть. Вешал как-то во дворе свежестыранную одежду и постель, на которой утренним жаворонком желчи распостертые пятна, – он так и не смог отстирать их, да и нужно ли было чрезмерно, напрасно столько тереть, стараться, – все равно скоро выносить из дому за умершей. Зашел в гражду – а она лежит, и больше не скажет никогда ничего.

## Глава 4. Сорокадневный дождь

Микош бросил ненавистные простыни и стал готовиться к похоронам. Пришло, хоть он этого не хотел втайне, все село, и даже Языкаста Ярослава пришла, будь она во веки веков не ладна.

А за ней Хвидорчуки, Божейки, какой-то дальний родственник Середульного, который ростом до спинки стула еще не дорос, и ноги у него в сапогах болтались, как пестик в ступе, но будто бы уже серьезный и сразу с будущей женой (черт их разберет, этих правильных селян, сызмальства у них все как должно, как правильно). Пришел цирюльник, крепко скроенный венгр Шандор с какой-то мудреной фамилией, пришли евреи Шмильц, а в народе – Марамушские, пришел еще один дальний отпрыск Середульного по имени Юда, у которого морщины на лбу уж разлеглись плетями Сойферова запуста, пришел процентщик Цаль, то ли венгр, то ли румын, то ли еврей, – хотя он-то клялся и божился, что родился здесь, в горах, а значит, гуцул; пришли Хрумчаки всем семейством, дородные, будто коровы, несущие двойню, пришли братья Хотар, что все никак не могли разделить отцовский участок и даже хату перегородили тыном напополам, пришла старуха Хавка с заячьей губой, которая всем рассказывала, что лесной пан-Чугайстр<sup>37</sup> наградил ее не человеческим ртом, а луговым цветком, но Микошу отчего-то не верилось, что цветы, даже неуродившиеся, могут быть столь безобразны. Пришел Бэдзир Тугота вместе со своими одиннадцатью детьми, никто из которых не умер в прошлый голод, не был задавлен лесом на вырубке и не унесен поветрием, пришла баба Турма, не разрешавшая резать из своей отарки ни одного ягненка, даже неуродившегося, пришел Пструг<sup>38</sup> с вечно выпученными от какой-то неведомой болезни глазами, и оттого похожий на форель, выходящую в село из своего озера по большим праздникам или на поминки, пришел ладный парубок Полиг, которому все девчата на вечерницах заглядывали в глаза, будто народившемуся красному дню, пришел Мольфар<sup>39</sup> – его уж точно никто не звал, но и прогонять не стал бы, ибо какое-то зло ведь должно присутствовать в такой миг среди добрых людей, будто бы не хватило за этим Полорогого и безымянного Ниц, явившегося (если о нем можно было так сказать) с неведомым свертком под волчьим пальто и как обычно ни с кем не здороваясь.

Но больше всего гуцульский народ удивился, когда сошла дочь кузнеца Бажа́на, она спустилась напрямиком с небес на облаке, окруженная золотыми стрелами, выкованными ее отцом.

Все пришли, и даже сверх меры, с полонин спустились дикие люди, они привели с собой диких козлов и косуль, принесли к столу дятлов и куропаatok, и фазанов, и кашу из дикой кашицы, подсоленную глазками болотной мошкеры. Микош искал среди них незабудковые глаза, но не нашел, или, напротив, нашел слишком много.

Они все входили и входили в их с матерью небольшую гражду (и как все поместились?), отчего стало казаться, что это и не гражда вовсе, а какое-то глубоководное озеро, в которое ушатами вываливали рыбу. Наконец, калитка стала открываться все реже, все реже подрагивала, пока, наконец, совсем не замолкла, все были в сборе. Микош достал из кожаной сумки сопилку и хотел было уже играть на ней, как заметил, что та некстати лопнула по боку. Он легонько подул в нее, почти не надеясь, что старая его подруга зазвучит как прежде, и опасения его подтвердились. Звучали ладно теперь только верхние две ноты, а вместо нижних выходил негромкий сип, который тут же рассеивался густым туманом у земли, не позволяя наигранному разлетаться птицами. Но Микошу в то утро удалось достичь уже той степени болезнен-

---

<sup>37</sup> Гуцулы верят, что хозяин леса показывается большим одиноко стоящим деревом или же огромным и заросшим шерстью человеком, который может или отпустить, или затанцевать до смерти.

<sup>38</sup> Его прозвище, пструг, и есть форель по-гуцульски.

<sup>39</sup> Колдун.

ного безразличия, что принялся как должно играть на разошедшей сопилке, а вместо мелодии у него выходили только короткие жалобные вскрики ночной иволги.

*...Йой Марічку, йой Марічку  
Із містечка Зв́али,  
Слізи ліше ма́ють роси,  
Як те похов́али.*

Музыка звучала у него внутри отдельно от звуков, которые ему на самом деле доводилось издавать при помощи сломанной сопилки, он будто не слышал или не хотел слышать того, что было на самом деле.

*Йой Марічку, йой Марічку,  
Кóсиці крив́аві  
Уплітаєш'ся у ко́су,  
Як те похов́али<sup>40</sup>...*

– Это теперь что такое на поминках вместо трембиты играет? – Настороженно спросила Хвидорчучка, чудом избежав слова бесы при усопшей. В глазах ее удивительным образом слились и гнев, и отвращение даже к тому, кто, по ее мнению, глумился над заведенными порядками, но была и жалость к испорченному инструменту, и глухое понимание чужого горя, но не слишком глубокое, не настолько, чтобы оцепенеть вместе с ним. Не в той мере, чтобы росы в ее светлой душе заплакали человеческими слезами...

Стол накрыли прямо во дворе гражды под сливой, то и дело ронявшей с порывами належавшего ветра паршу старой коры в распиваемую палинку и калгановку. Последнюю, меж тем, употреблял только Пструг, все еще надеявшийся вылечить какую-то свою хворь и при случае каждому хваливший горькую настойку как первейшее средство. Глаза его, по-жабы выпученные, понятное дело, от целебного корня назад не закатывались, а лишь приобретали с годами какое-то выражение, будто он не добрым селянином себя считал, а застоявшимся тестом в кадке.

Ветер усиливался, коры сыпалось все больше, пили все чаще.

– *Йой, Ліна!* – Провозгласила протяжно Хвидорчучка. «*Йой, д́обра бу́ла*», – донеслось ответом со всех сторон и тут же заглушилось звоном опускаемых на стол чарочек. «Или не была?» – Долетело с порывами ветра откуда-то со стороны Ниц, но никто, как водится, не обратил на него никакого внимания.

Хвидорчучка прикладывалась к палинке так часто, как только требовалось общим ритмом застолья, тем напоминавшее какое-то чудовищное, фантазмагорическое море, волнами вливавшееся во внутренности селян по их же воле. И в то же время Хвидорчучка с опаской продолжала вслушиваться в нестройный бред Микошевой сопилки, словно опасаясь, что та вдруг возьмет и взбунтуется и, скажем, попереубивает половину села. Скоро ее тревога передалась и Божейке, та перестала сверлить черным взглядом место, где отсутствовала пани Беата (бес ей в селезенку, где носит?) Они переглянулись понимающе с Хвидорчучкой, и вот уже хруст огурца у Божейки получался не залихватский, а осторожный, вслушивающийся.

– Так *ба́нуши*<sup>41</sup>, *бануши*-то будет или нет сегодня? – Взмолился процентщик Цаль, не в силах поспевать за гуцулами в питье и все перебирая от нетерпения под столом сапогами,

---

<sup>40</sup> Ой Маричка, ой Маричка из городка Звалы, плачут только росы, с тех пор как тебя похоронили. Ой Маричка, ой Маричка, кровавые цветы заплеташь себе в косу, с тех пор как тебя похоронили.

<sup>41</sup> Если есть нечто более прекрасное, чем желто-горячий бануш из кукурузной крупы на костре, пересыпанной брынзой и шкварками, так это одно только солнце!

намазанными каким-то диковинным средством для блеску. Поговаривали, что за этим делом он ловил даже и мучил зайцев.

Хвидорчучка отмахнулась от Цалевых слов, будто поймала и выбросила под стол муху. Налетевший ветер бросил ей еще коры в крепкий напиток, поворошил сорочку на лежавших валунами грудях и принес с собой откуда-то с гор мысли странные и горькие, будто осевший на небе дым сжигаемых листьев. И отчего-то ей стало казаться, что она одна до этого додумалась:

– Вот бы похоронить до того, как сорокадневный дождь с небес спустится.

И все принялись поднимать головы кверху, намереваясь по одному только виду облаков предсказать, когда придет немилосердная *плюта*.

А она уже спускалась с полонин к похоронам, ветер дернул старую сливу во дворе еще раз и нещадно, и черные, как смерть черные небесные овцы подползали все ближе к селу.

Божейка первой вскочила с места и завернула стоявшее перед ней блюдо рушником, понесла куда-то, то ли к себе домой, то ли диким людям на откуп. Пструг в предчувствии непогоды стал ежиться сильнее и выпучивать глаза, Цаль засобирался прочь, опасаясь за блестящие свои сапоги. И тут Ниц, не таясь, раскрыл сверток перед гуцулами – в нем оказалось множество всякой гадости, дождевых червей, пиявок и мелких лягушат. В тот же миг с небес закапали редкие капли, Хвидорчучка все смотрела на небо и шептала молитвы, прося у Божьей Матери закрыть вишневым ее, благостным подолом молодые вишни в ее саду. Сказанное ею перемежалось со все продолжавшимся стенанием сломанной сопилки.

Когда с застольем было покончено, Божейка подошла к Микошу и положила свою крепкую руку на дудку – не играй больше, Микоше. И так, подгоняемые ветром и налетавшей россыпью капель, гуцулы двинулись хоронить его мать.

Он сам не знал, зачем зашел в хату – проститься с ней, пока не подняли ее в последней постели – гуцулы так ведь и зовут гроб *ліжком*<sup>42</sup>. Все слова были сказаны при жизни, при ее болезни, а то, что друг другу они сказать не решились или не видели в том большого смысла, – он не проговорил бы и сейчас, над высохшим и мертвым телом.

Да и не мать это теперь покоилась в окружении четырех высоких свечей, то лежала Смерть. Зачем оставили ее в хате на целых три дня, портить некогда любимый дом, душить, убивать то доброе и легкое ощущение, которое пестовала мать, перемежая чисто убранные углы песнями и вышивками, и щавелевыми щами? Все это было безвозвратно погублено, в хате воцарился густой и темный дух, с каким ветер внезапно открывает дверь тьме.

Некогда проворные ее руки лежали поверх отекавшего, оплывшего по болезни тела так, что напоминали куриные косточки, заключенные в плоть. Нос – будто клюв зяблика, глаза закрыты, и весь лик ее полнился одним каким-то выраженьем – «знаю, знаю», – а кожа цвета охры и земель вызывала отвращенье, как и до тошноты застывшие пряди до этого живых, лилейных, маргаритковых волос.

Хата с матерью теперь наполнилась всякой нечистью и сбродом. Козел с большими рогами из сливовых ветвей и иссохших кукурузных листьев был молчалив, его разрисованная красным, затканная рожасовалась не к месту пасхальной писанкой. Подле него, по правую руку, сидело белое, закутанное в простыню с прорехой, и Микошу вдруг вспомнилась дочь кузнеца Бажана, сошедшая на облаке, но то была лишь издевка над чистотой небес.

Меж сбродом восседали плакальщица, причитальщица и завывальщица – три старухи, попеременно исполнявшие свои роли. Все они держались за колени так, будто вот-вот собирались встать. А там, снаружи гражды, уже срывались первые льдины с небес, застучавшие резко и больно по крыше и ставням.

---

<sup>42</sup> Именно так, *ліжко* – это и постель, и гроб.

Баба, читавшая непрерывно длинную и нужную молитву, закончила, и только тогда Микош понял, что все это время она читала ее. А после взялась за рушник, положенный во гроб, наскоро прикрыла им материн лик (наконец-то) и перекрестилась:

– И правда хоронить будем в сорокадневный дождь.

Свечи согласно заколыхались вместе с ней и выпустили Смерть из грады, но прежде трижды ударили гробом о порог – так заведено.

## Глава 5. Расплата

Во время великой непогоды звуки часто разносятся по земле широко, так и в Великих Гарнаглях услышали будто бы тройной стук гроба. Пани Беата расправила юбку, вечно сидевшую на ней со складками, проверила мошну свою из овечьей кожи и захлопнула тревожно лаявшие ставни; ветер принес ей в лицо ошметки коры старой сливы и вместе с ним что-то невыразимое, что могло означать только вкус поминальных голубцов и палинки. И тотчас же ударил град.

– То расплата моя налетела! – Выказала она ставням и обернулась в пустой, сонной церкви. Перед ней сидел на скрине священник, одеяние облегалo его так же, со складками, а пальцами в перстнях он лущил тыквенные семечки с белого блюда с образочками. Он выслушал пани будто даже с интересом, и ответил так же – с притворным жаром.

– Разве могут быть тяжкие грехи у достойной и прекрасной пани?

Рука его опустилась куда-то меж складок, но не своего платья, а чужого, Беата проворно отстранилась, в тот самый миг, когда рука церковника оказалась в опасной близости к мошне с деньгой – а сколько имеет пани? Священника в Глыбоке никто не любил, но все почитали. Прислали его в тот шальной и чудной год, когда всю капусту градом побил0, а на ярмарке белый, как брынза, осел сам себя продавал, – людям требовалось хоть немного покоя, а священнику – одна церковь на два села, чтоб собирать с прихожан вдвое больше.

Звали его по-церковному – Самуилом, а бочонок пуза и масляный взгляд были совсем мирскими. Мальчишки одно время повадились кричать повсюду, коверкать его имя на свой манер: «*Чи ти сумній, Сумііл?*»<sup>43</sup>, доводя его до бешеных отблесков в глазах. Не поленился слуга господа, в каждый двор занес тогда слово божие, и каждого крикуна дома ждал за кричалки суровый выговор.

Первое, что он сделал – запретил входить в храм в грязной обуви – чтобы не платить служкам часто за уборку. Затем закрыл церковный двор для диких людей из леса, хотя те вели себя тихо и обуви не имели никакой, тем более, грязной, но своим просветленным лесом видом мешали вести проповедь – о вечном, о человеческом.

На полпути похоронная процессия разделилась, часть селян разошлась по домам прикрыть последнее, что еще не побил град, другая часть последовала за гробом до храма, а третьи обернулись сойками, мелкоротыми гаечками и медведями и заторопились назад в свои лесные укрытия.

Что-то со всей силы стукнуло в ставни, и Сумуил, и Беата разом вздрогнули, хоть виду друг другу не подали. Обернувшись, она заметила особое какое-то настроение у священника и поняла, что шутку о грехе продолжить можно. Потому встала, налила себе еще вина с медом и чабером, и произнесла:

– На той неделей хвастался мне один: что ни выстрел – медведя валит, что ни плуг точит – так пашет землю, что не он за волами, а волы за ним следом идут...

– И ты ему, конечно, не отказала, – хихикнул Сумуил, и было странно видеть, что такой серьезный человек может так тоненько, да еще и ни капли не смешно смеяться.

– Уж, конечно, отказала! Кого бог грошами обделил, тот стучится в дверь и достает из штанов длинный мотлох, кого бог и тем обделил, тот вываливает длинный язык...

Сумуил покончил с семечками, одним махом сгреб их, и почти совсем потерял интерес к панским речам:

– Так на другой день он тебе последнюю утку снесет, лишь бы ты его не обделила своим панским вниманием.

---

<sup>43</sup> Грустно ли тебе, Самуил?

Беата погрозила священнику пальцем, становясь похожей на какую-то неправильную и темную тень Богоматери за ней.

– Каждый знает свое место, Сумуиле, – твое место здесь, у Бога за пазухой, мое место – женино, я богом дана мужчине, чтобы поддерживать в нем огонь. Кто виноват, что их законные жены не могут ни того, ни другого? Что муж ждет от них вечером густой юшки и светлой улыбки – а они ложку мечут на стол так, будто убить ею хотят. Жена дана мужу для обмана, и в этом промысел Божий, жена должна лгать неустанно, говорить и делать так, будто муж один такой на свете...

Ставни прервали ее, хлопнув громко и впустив в храм льдины, скользнувшие по полу со стуком и оставшиеся таять в тщедушном свете свечей. И Сумуил, и Беата заворуженно смотрели на льдины и лужицы, и каждый думал о своем.

– Бог карает их сорокадневным дождем не за лень и безразличие мужчин, Сумуиле, а за то, что жены стали подавать на стол никому не нужную, грубую и горькую правду. В селе одни бесы от того развелись, в лесу расплодились, вон, дикие люди, как мураши, того и гляди, сам Чугайстр будет к людям на похороны выходить. Да какое дело ему, Панському буку, до смерти одного человека?

– Женщина, ты забываешься, человек есть венец творения Божьего.

– Мужчина есть венец творения Божьего, а жена дана ему во сласть и в услужение, а кто мыслит иначе, тот закончит свои дни в нищете и одиночестве. Всюду бесы, рожденные никому не нужной правдой; шовдарь копят, а они разлетаются через дымоход сизой завистью – у соседа лучше, а кто сказал? Жена... В озеро, бывало, вступишься, скинешь всю с себя одежду, искупаться невозможно – сквозь воды смотрят на тебя глаза мертвых, все так тоскуют по ним, все отпустить не могут, так куда им идти? Скажи, отче, отчего им всем не живется как должно? Да хоть бы сегодня и с одним, а завтра с другим, – это жизнь, Сумуиле, и даже святое море переменчиво, и Бог...

Священник снова хихикнул – в последний раз уже на сегодня, и с ленцой зевнул.

– Полезай и схоронись за лавкой, да смотри там бесов своих не начни считать.

Та подчинилась.

И тут же в храмовую дверь постучали так сильно, что еще чуть и, должно быть, снесли бы ее, но, некто вовремя остановился, словно вспомнив, что дверь-то все же не в шинок.

Священник наскоро отряхнул руки и рясу от семечек и сменил выражение лица. Он сам отворил церковные ворота, – кстати, липовые, – тем торжественным и медленным движением, каким распахивают в храмах побольше алтари по великим праздникам.

Толпа хлынула в храм, мокрая, грязная, гомонливая, гроб с усопшей поставили на пол, и Сумуил про себя отметил, что оглядел усопшую не как священник, а как обыкновенный мужчина. Что-то было в ней от цветов черемухи, что-то – от едва надломленного ивового прута; Лина Ракоци была тщедушной по гуцульским меркам и излишне высокой, отчего иные едва дотягивали ей до виска. Сумуил не относил себя к числу любителей чрезмерной высоты и худобы, хотя и почитателем пышной, как *рóкот-крúмплi*<sup>44</sup>, Беаты стал скорее вынужденно, поддавшись то ли ее чарам, то ли уговорам и харчам. От упокоившейся Лины Ракоци священник отошел и отвернулся:

– Негоже отпевать в ненастье.

Среди гуцулов прокатился рокот, вот уже в нем потонули шарканья постолов, промокший сип и кашель, и, наконец, шум вырос до таких высот, что Сумуилу пришлось насильно прекратить это все.

– Тихо!

<sup>44</sup> Картофель, запеченный слоями – вот что это означает, и венгры тоже любят это блюдо с колбасками, сметаной и яйцом.

Все успокоились в тот миг, когда Беата шумно и кряхтя вылезала из своего укрытия, и каждый из собравшихся приметил это событие.

– Дура, – проговорил одними губами Сумуил. Та еще принялась кашлять, видимо, от пыли, и так характерно, что никак уже не могла воссоединиться с толпой селян.

– Никто не отблагодарил церковь за отпевание, – громко провозгласил священник, и снова стало шумно и неудобно.

Дождь припустил за окнами, и резко отворились двери. За ними Сумуилу почудилась фигура, но будто не человеческая, хоть и в гуцульском одеянии: в постолах, гугле и *кресане*<sup>45</sup>, в которую было вставлено петушиное перо.

Одно появление этой фигуры произвело на селян эффект, не сопоставимый со всеми проповедями Сумуила вместе взятыми: они начали неистово креститься. «Ниц пришел хоронить, Ниц будет хоронить кого-то!» – Шепот волнами пронесся по храму вперемешку со стонами.

---

<sup>45</sup> Короткополая шляпа, которую гуцулы украшают пером, цветными нитками, а то и цветами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.